

Илья
ИЛЬФ
Евгений
ПЕТРОВ



ОДНОЭТАЖНАЯ
АМЕРИКА

Путевые очерки



АЗБУКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗ ОКНА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО
ЭТАЖА

Глава I
«НОРМАНДИЯ»

В девять часов из Парижа выходит специальный поезд, отвозящий в Гавр пассажиров «Нормандии». Поезд идет без остановок и через три часа вкатывается в здание гаврского морского вокзала. Пассажиры выходят на закрытый перрон, поднимаются на верхний этаж вокзала по эскалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех сторон сходимям и оказываются в большом вестибюле. Здесь они садятся в лифты и разъезжаются по своим этажам. Это уже «Нормандия». Каков ее внешний вид — пассажирам неизвестно, потому что парохода они так и не увидели.

Мы вошли в лифт, и мальчик в красной куртке с золотыми пуговицами изящным движением нажал красивую кнопку. Новенький блестящий лифт немного поднялся вверх, застрял между этажами и неожиданно двинулся вниз, не обращая внимания на мальчика, который отчаянно нажимал кнопки. Спустившись на три этажа, вместо того чтобы подняться на два, мы услышали мучительно знакомую фразу, произнесенную, однако, на французском языке: «Лифт не работает».

В свою каюту мы поднялись по лестнице, сплошь покрытой несгораемым каучуковым ковром светло-зеленого цвета. Таким же материалом устланы коридоры и вестибюли парохода. Шаг делается мягким и неслышным. Это приятно. Но по-настоящему начинаешь ценить достоинства каучукового настила во время качки: подошвы как бы прилипают к нему. Это, правда, не спасает от морской болезни, но предохраняет от падения.

Лестница была совсем не пароходного типа — широкая и пологая, с маршами и площадками, размеры которых вполне приемлемы для любого дома.

Каюта была тоже какая-то не пароходная. Просторная комната с двумя окнами, двумя широкими деревянными кроватями, креслами, стенными шкафами, столами, зеркалами и всеми коммунальными благами, вплоть до телефона. И вообще «Нормандия» похожа на пароход только в шторм — тогда ее хоть немного качает. А в тихую погоду — это колоссальная гостиница с роскошным видом на море, которая внезапно сорвалась с набережной модного курорта и со скоростью тридцати миль в час поплыла в Америку.

Глубоко внизу, с площадок всех этажей вокзала, провожающие выкрикивали свои последние приветствия и пожелания. Кричали по-французски, по-английски, по-испански. По-русски тоже кричали. Странный человек в черном морском мундире с серебряным якорем и щитом Давида на рукаве, в берете и с печальной бородкой кричал что-то по-еврейски. Потом выяснилось, что это пароходный раввин, которого Генеральная трансатлантическая компания содержит на службе для удовлетворения духовных потребностей некоторой части пассажиров. Для другой части имеются наготове католический и протестантский священники. Мусульмане, огнепоклонники и советские инженеры лишены духовного обслуживания. В этом отношении Генеральная трансатлантическая компания предоставила их самим себе. На «Нормандии» есть довольно большая католическая церковь, озаряемая чрезвычайно удобным для молитвы электрическим полусветом. Алтарь и религиозные изображения могут быть закрыты специальными щитами, и тогда церковь автоматически превращается в протестантскую. Что же касается раввина с печальной бородкой, то отдельного помещения ему не отведено, и он совершает свои службы в детской комнате. Для этой цели компания выдает ему талес и особую драпировку, которой он закрывает на время суетные изображения зайчиков и кошечек.

Пароход вышел из гавани. На набережной и на молу стояла толпа людей. К «Нормандии» еще не привыкли, и каждый рейс трансатлантического колосса вызывает в Гавре всеобщее внимание. Французский берег скрылся в дыму пасмурного дня. К вечеру заблестели огни Саутгемптона. Полтора часа «Нормандия» простояла на рейде, принимая пассажиров из Англии, окруженная с трех сторон далеким таинственным светом незнакомого города. А потом вышла в океан, где уже начиналась шумная возня невидимых волн, поднятых штормовым ветром.

Все задрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, шезлонги, стаканы над умывальником, сам умывальник. Вибрация парохода была столь сильной, что начали издавать звуки даже такие предметы, от которых никак этого нельзя было ожидать. Впервые в жизни мы слышали, как звучит полотенце, мыло, ковер на полу, бумага на столе, занавески, воротничок, брошенный на кровать. Звучало и гремело все, что находилось в каюте. Достаточно было пассажиру на секунду задуматься и ослабить мускулы лица, как у него начинали стучать зубы. Всю ночь казалось, что кто-то ломится в двери, стучит в окна, тяжко хохочет. Мы насчитали сотню различных звуков, которые издавала наша каюта.

«Нормандия» делала свой десятый рейс между Европой и Америкой. После одиннадцатого рейса она пойдет в док, ее корму разберут, и конструктивные недостатки, вызывающие вибрацию, будут устранены.

Утром пришел матрос и наглухо закрыл иллюминаторы металлическими щитами. Шторм усиливался. Маленький грузовой пароход с трудом пробирался к французским берегам. Иногда он исчезал за волной, и были видны только кончики его мачт.

Всегда почему-то казалось, что океанская дорога между Старым и Новым Светом очень оживлена, что то и дело навстречу попадают веселые пароходы, с музыкой и флагами. На самом же деле океан — это штука величественная и пустынная, и пароходик, который штормовал в че-

тырехстах милях от Европы, был единственным кораблем, который мы встретили за пять дней пути. «Нормандия» раскачивалась медленно и важно. Она шла, почти не уменьшив хода, уверенно расшвыривая высокие волны, которые лезли на нее со всех сторон, и только иногда отвечивала океану равномерные поклоны. Это не было борьбой мизерного создания человеческих рук с разбушевавшейся стихией. Это была схватка равного с равным.

В полукруглом курительном зале три знаменитых борца с расплюснутыми ушами, сняв пиджаки, играли в карты. Из-под их жилеток торчали рубахи. Борцы мучительно думали. Из их ртов свисали большие сигары. За другим столиком два человека играли в шахматы, поминутно поправляя съезжающие с доски фигуры. Еще двое, упершись ладонями в подбородки, следили за игрой. Ну кто еще, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный ферзевой гамбит! Так оно и было. Симпатичные Ботвинники оказались советскими инженерами.

Постепенно стали заводиться знакомства, составляться компании. Роздали печатный список пассажиров, среди которых оказалась одна очень смешная семья: мистер Бутербродт, миссис Бутербродт и юный мистер Бутербродт. Если бы на «Нормандии» ехал Маршак, он, наверно, написал бы стихи для детей под названием «Толстый мистер Бутербродт».

Вошли в Гольфштрем. Шел теплый дождик, и в тяжелом оранжерейном воздухе осаждалась нефтяная копоть, которую выбрасывала одна из труб «Нормандии».

Мы отправились осматривать пароход. Пассажир третьего класса не видит корабля, на котором он едет. Его не пускают ни в первый, ни в туристский классы. Пассажир туристского класса тоже не видит «Нормандии», ему тоже не разрешается переходить границ. Между тем первый класс — это и есть «Нормандия». Он занимает по меньшей мере девять десятых всего парохода. Все громадно в первом классе: и палубы для прогулок, и рестораны, и салоны для курения, и салоны для игр в карты, и специальные дамские салоны, и оранжерея, где толстенские французские

воробьи прыгают на стеклянных ветвях и с потолка свисают сотни орхидей, и театр на четыреста мест, и бассейн для купания — с водой, подсвеченной зелеными электрическими лампами, и торговая площадь с универсальным магазином, и спортивные залы, где пожилые лысоватые господа, лежа на спине, подбрасывают ногами мяч, и просто залы, где те же лысоватые люди, уставшие бросать мяч или скакать на цандеровской деревянной лошадке, дремлют в расшитых креслах, и ковер в самом главном салоне, весом в тридцать пудов. Даже трубы «Нормандии», которые, казалось бы, должны принадлежать всему пароходу, на самом деле принадлежат только первому классу. В одной из них находится комната для собак пассажиров первого класса. Красивые собаки сидят в клетках и безумно скучают. Обычно их укачивает. Иногда их выводят прогуливать на специальную палубу. Тогда они нерешительно лают, тоскливо глядя на бурный океан.

Мы спустились в кухню. Десятки поваров трудились у семнадцатиметровой электрической плиты. Еще десятки потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе изготовлялась кошерная пища. Иногда сюда заходил пароходный раввин, чтобы посмотреть, не подбросили ли веселые французские повара кусочков трефного в ортодоксальную пищу. В ледяных кладовых хранились припасы. Там свирепствовал мороз.

«Нормандию» называют шедевром французской техники и искусства. Техника «Нормандии» действительно великолепна. Нельзя не восхищаться скоростью парохода, его противопожарным устройством, смелыми и элегантными линиями его корпуса, его радиостанцией. Но в области искусства французы знали лучшие времена. Безупречно выполнение живописи на стеклянных стенах, но самая живопись ничем особенным не блещет. Это же относится к барельефам, к мозаике, к скульптуре, к мебели. Очень много золота, цветной кожи, красивых металлов, шелков, дорогого дерева, великолепного стекла. Очень много богатства и очень мало настоящего искусства. В общем, это то, что французские художники, безнадежно разводя руками, на-

зывают «стиль Триумф». Недавно в Париже, на Елисейских Полях, открылось кафе «Триумф», пышно отделанное в будуарно-постельном роде. Жалко! Хотелось бы, чтобы в создании «Нормандии» партнерами замечательных французских инженеров были замечательные французские художники и архитекторы. Это тем более жалко, что такие люди во Франции есть.

Некоторые недочеты в технике — например, вибрацию на корме, испортившийся на полчаса лифт и другие досадные мелочи — надо поставить в вину не инженерам, строившим этот прекрасный корабль, а, скорее, нетерпеливым заказчикам, торопившимся начать эксплуатацию и во что бы то ни стало получить голубую ленту за рекордную быстроту.

Накануне прихода в Нью-Йорк состоялся парадный обед и вечер самодеятельности пассажиров. Обед был такой, как обычно, только добавили по ложке русской икры, называвшейся в меню «бкра». Кроме того, пассажирам раздавали бумажные корсарские шляпы, хлопушки, значки в виде голубой ленты с надписью «Нормандия» и бумажники из искусственной кожи, тоже с маркой Трансатлантической компании. Раздача подарков производится для того, чтобы уберечь пароходный инвентарь от разграбления. Дело в том, что большинство путешественников одержимо психозом собирания сувениров. В первый рейс «Нормандии» пассажиры утащили на память громадное количество ножей, вилок и ложек. Уносили даже тарелки, пепельницы и графины. Так что выгоднее подарить значок в петлицу, чем потерять ложку, необходимую в хозяйстве. Пассажиры радовались игрушкам. Толстая дама, которая в течение всех пяти дней путешествия просидела в углу столовой одна, сразу же с деловым видом надела на голову пиратскую шляпу, разрядила хлопушку и приколотла к груди значок. Как видно, она считала своим долгом добросовестно воспользоваться благами, полагавшимися ей по билету.

Вечером началась мелкобуржуазная самодеятельность. Пассажиры собрались в салоне. Потушили свет и навели

прожектор на маленькую эстраду, куда, дрожа всем телом, вышла изможденная девица в серебряном платье. Оркестр, составленный из профессионалов, смотрел на нее с жалостью. Публика поощрительно зааплодировала. Девица конвульсивно открыла рот и сразу же его закрыла. Оркестр терпеливо повторил интродукцию. В предчувствии чего-то ужасного, зрители старались не смотреть друг на друга. Вдруг девица вздрогнула и запела. Она пела известную песенку «Говорите мне о любви», но так тихо и плохо, что нежный призыв никем не был услышан. В середине песни девица неожиданно убежала с эстрады, закрыв лицо руками. На эстраде появилась другая девица, еще более изможденная. Она была в глухом черном платье, но босая. На лице ее был написан ужас. Это была босоножка-любительница. Зрители начали воровато выбираться из зала. Все это было совсем не похоже на нашу жизнерадостную талантливую горластую самодеятельность.

На пятый день пути палубы парохода покрылись чемоданами и сундуками, выгруженными из кают. Пассажиры перешли на правый борт и, придерживая руками шляпы, жадно всматривались в горизонт. Берега еще не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже подымались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст — после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире. В солнечном дыму смутно блестели стальные грани стадвухэтажного «Импайр-стейт-билдинг». За кормой «Нормандии» кружились чайки. Четыре маленьких могучих буксира стали поворачивать непомерное тело корабля, подтягивая и подталкивая его к гавани. Слева по борту обозначалась небольшая зеленая статуя Свободы. Потом она почему-то оказалась справа. Нас поворачивали, и город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной. Наконец он стал на свое место, невозможно большой, гремящий, еще совсем непонятный.

Пассажиры сошли по закрытым сходням в таможенный зал, проделали все формальности и вышли на улицу города, так и не увидев корабля, на котором приехали.

Глава II

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР В НЬЮ-ЙОРКЕ

Таможенный зал пристани «Френч Лайн» велик. Под потолком висят большие железные буквы латинского алфавита. Каждый пассажир становится под ту букву, с которой начинается его фамилия. Сюда привезут с парохода его чемоданы, здесь они будут досматриваться.

Голоса приехавших и встречающих, смех и поцелуи гулко разносились по залу, обнаженные конструкции которого придавали ему вид цеха, где делают турбины.

Мы никого не уведомили о приезде, и нас никто не встречал. Мы вертелись под своими буквами, ожидая таможенного чиновника. Наконец он подошел. Это был спокойный и неторопливый человек. Его несколько не волновало то, что мы пересекли океан, чтобы показать ему свои чемоданы. Он вежливо коснулся пальцами верхнего слоя вещей и больше не стал смотреть. Затем он высунул свой язык, самый обыкновенный, мокрый, ничем технически не оснащенный язык, смочил им большие ярлыки и наклеил их на наши чемоданы.

Когда мы наконец освободились, был уже вечер. Белый такси-кеб с тремя светящимися фонариками на крыше, похожий на старомодную карету, повлек нас в отель. Вначале нас очень мучила мысль, что мы по неопытности сели в плохой, архаический таксомотор, что мы смешны и провинциальны. Но, трусливо выглянув в окно, мы увидели, что во всех направлениях несутся машины с такими же глупыми фонариками, как у нас. Тут мы немножко успокоились. Уже потом мы поняли, что фонарики на крыше учреждены для того, чтобы такси были заметнее среди миллионов машин. С этой же целью такси в Америке красятся в самые вызывающие цвета — оранжевый, канаречный, белый.

Попытка посмотреть на Нью-Йорк из автомобиля не удалась. Мы ехали по довольно темным и мрачным улицам. Иногда что-то адски гудело под ногами, иногда что-то грохотало над головой. Когда мы останавливались перед

светофорами, бока стоящих рядом с нами машин заслоняли все. Шофер несколько раз оборачивался и переспрашивал адрес. Как видно, его волновал английский язык, на котором мы объяснялись. Иногда он посматривал на нас поощрительно, и на лице у него было написано: «Ничего, не пропадете! В Нью-Йорке еще никто не пропал».

Тридцать два кирпичных этажа нашего отеля уходили в ночное рыжеватое небо.

Покамест мы заполняли короткие регистрационные карточки, два человека из прислуги любовно стояли над нашим багажом. У одного из них висел на шее блестящий круг с ключом той комнаты, которую мы выбрали. Лифт поднял нас на двадцать седьмой этаж. Это был широкий и спокойный лифт гостиницы, не очень старой и не очень новой, не очень дорогой и, к сожалению, не очень дешевой.

Номер нам понравился, но смотреть на него мы не стали. Скорей на улицу, в город, в грохот. Занавески на окнах трещали от свежего морского ветра. Мы бросили свои пальто на диван, выбежали в узкий коридор, застланный узорным бобриком, и лифт, мягко щелкая, полетел вниз. Мы значительно посмотрели друг на друга. Нет, это все-таки событие! В первый раз в жизни мы идем гулять по Нью-Йорку.

Тонкий, почти прозрачный полосато-звездный флаг висел над входом в наш отель. По другую сторону улицы стоял полированный куб гостиницы «Уолдорф-Астория». В проспектах она называется лучшей гостиницей в мире. Окна «лучшей в мире» ослепительно сияли, а над входом висели целых два национальных флага. Прямо на тротуаре, у обочины, лежали завтрашние номера газет. Прохожие нагибались, брали «Нью-Йорк таймс» или «Геральд трибюн» и клали два цента на землю, рядом с газетами. Продавец куда-то ушел. Газеты были прижаты к земле обломком кирпича, совсем так, как это делают московские старухи-газетчицы, сидя в своих фанерных киосках. Цилиндрические мусорные баки стояли на углах перекрестка. Из одного бака выбрасывалось громадное пламя. Как видно, кто-то швырнул туда горящий окурок, и нью-йоркский

мусор, состоящий главным образом из газет, загорелся. Полированные стены «Уолдорф-Астории» осветились тревожным красным светом. Прохожие улыбались, отпуская на ходу замечания. К месту происшествия уже двигался полицейский с решительным лицом. Придя к мысли, что нашему отелю не угрожает красный петух, мы пошли дальше.

Сейчас же с нами произошла маленькая беда. Мы думали, что будем медленно прогуливаться, внимательно глядя по сторонам, — так сказать, изучая, наблюдая, впитывая и так далее. Но Нью-Йорк не из тех городов, где люди движутся медленно. Мимо нас люди не шли, а бежали. И мы тоже побежали. С тех пор мы уже не могли остановиться. В Нью-Йорке мы прожили месяц подряд и все время куда-то мчались со всех ног. При этом у нас был такой занятой и деловой вид, что сам Джон Пирпонт Морган-младший мог бы нам позавидовать. При таком темпе он заработал бы в этот месяц миллионов шестьдесят долларов.

Итак, мы сразу помчались. Мы проносились мимо огненных вывесок, на которых было начертано: «Кафетерия», или «Юнайтед сигарс», или «Драг-сода», или еще что-нибудь такое же привлекательное и пока непонятное. Так мы добежали до 42-й улицы и здесь остановились.

В магазинных витринах 42-й улицы зима была в полном разгаре. В одной витрине стояли семь элегантных восковых дам с серебряными лицами. Все они были в чудных каракулевых шубах и бросали друг на друга загадочные взгляды. В соседней витрине дам было уже двенадцать. Они стояли в спортивных костюмах, опершись на лыжные палки. Глаза у них были синие, губы красные, а уши розовые. В других витринах стояли молодые манекены с седыми волосами или чистоплотные восковые господа в недорогих, подозрительно прекрасных костюмах. Но мы не обращали внимания на все это магазинное счастье. Другое нас поразило.

Во всех больших городах мира всегда можно найти место, где люди смотрят в телескоп на луну. Здесь, на 42-й, тоже стоял телескоп. Он помещался на автомобиле.

Телескоп был направлен в небо. Заведовал им обыкновенный человек, такой же самый, какого можно увидеть у телескопа в Афинах, или в Неаполе, или в Одессе. И такой же у него был нерадостный вид, какой имеют эксплуататоры уличных телескопов во всем мире.

Луна виднелась в промежутке между двумя шестидесятиэтажными домами. Но любопытный, прильнувший к трубе, смотрел не на луну, а гораздо выше — он смотрел на вершину «Импайр-стейт-билдинг», здания в сто два этажа. В свете луны стальная вершина «Импайра» казалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного, чистого здания, сверкающего, как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь, молча задрвав головы. Нью-йоркские небоскребы вызывают чувство гордости за людей науки и труда, построивших эти великолепные здания.

Хрипло ревели газетчики. Земля дрожала под ногами, и из решеток в тротуаре внезапно тянуло жаром, как из машинного отделения. Это пробегал под землей поезд нью-йоркского метро — сабвея, как он здесь называется.

Из каких-то люков, вделанных в мостовую и прикрытых круглыми металлическими крышками, пробивался пар. Мы долго не могли понять, откуда этот пар берется. Красные огни реклам бросали на него оперный свет. Казалось, вот-вот люк раскроется и оттуда вылезет Мефистофель и, откашлявшись, запоет басом прямо из «Фауста»: «При шпаге я, и шляпа с пером, и денег много, и плащ мой драгоценен».

И мы снова устремились вперед, оглушенные криком газетчиков. Они режут так отчаянно, что, по выражению Лескова, надо потом целую неделю голос лопатой выгребать.

Нельзя сказать, что освещение 42-й улицы было посредственным. И все же Бродвей, освещенный миллионами, а может быть, и миллиардами электрических лампочек, наполненный вертящимися и прыгающими рекламами, устроенными из целых километров цветных газосветных трубок, возник перед нами так же неожиданно, как сам Нью-Йорк возникает из беспредельной пустоты Атлантического океана.

Мы стояли на самом популярном углу в Штатах, на углу 42-й и Бродвея. «Великий белый путь», как американцы титулуют Бродвей, расстилался перед нами.

Здесь электричество низведено (или поднято, если хотите) до уровня дрессированного животного в цирке. Здесь его заставили кривляться, прыгать через препятствия, подмигивать, отплясывать. Спокойное эдисоновское электричество превратили в дуровского морского льва. Оно ловит носом мячи, жонглирует, умирает, оживает, делает все, что ему прикажут. Электрический парад никогда не прекращается. Огни реклам вспыхивают, вращаются и гаснут, чтобы сейчас же снова засверкать; буквы, большие и маленькие, белые, красные и зеленые, бесконечно убегают куда-то, чтобы через секунду вернуться и возобновить свой неистовый бег.

На Бродвее сосредоточены театры, кинематографы и дансинги города. Десятки тысяч людей движутся по тротуарам. Нью-Йорк один из немногих городов мира, где население гуляет на определенной улице. Подъезды кино освещены так, что кажется, прибавь еще одну лампочку — и все взорвется от чрезмерного света, все пойдет к чертям собачьим. Но эту лампочку некуда было бы воткнуть, нет места. Газетчики поднимают такой вой, что на выгребание голоса нужна уже не неделя, нужны годы упорного труда. Высоко в небе, на каком-то несчитанном этаже небоскреба «Парамаунт», пылает электрический циферблат. Не видно ни звезд, ни луны. Свет реклам затмевает все. Молчаливым потоком несутся автомобили. В витринах среди клетчатых галстуков вертятся и даже делают сальто маленькие светящиеся ярлыки с ценами. Это уже микроорганизмы в космосе бродвейского электричества. Среди ужасного галдежа спокойный нищий играет на саксофоне. Идет в театр джентльмен в цилиндре, и рядом с ним обязательно дама в вечернем платье с хвостом. Как лунатик, движется слепец со своей собакой-поводырем. Некоторые молодые люди прогуливаются без шляп. Это модно. Сверкают под фонарями гладко зачесанные волосы. Пахнет сигарами, и дрянными и дорогими.

В ту самую минуту, когда мы подумали о том, как далеко мы теперь от Москвы, перед нами заструились огни кинематографа «Камео». Там показывали советский фильм «Новый Гулливер».

Бродвейский прибор протащил нас несколько раз взад и вперед и выбросил на какую-то боковую улицу.

Мы ничего еще не знали о городе. Поэтому здесь не будет названий улиц. Помнится только, что мы стояли где-то под эстакадой надземной железной дороги. Мимо проходил автобус, и мы, не думая, вскочили в него.

Даже много дней спустя, когда мы научились уже разбираться в нью-йоркском водовороте, мы не могли вспомнить, куда отвез нас автобус в тот первый вечер. Кажется, это был китайский район. Но возможно, что это был итальянский район или еврейский.

Мы шли по узким вонючим улицам. Нет, электричество здесь было обыкновенное, не дрессированное. Оно довольно тускло светило и не делало никаких прыжков. Громадный полицейский стоял, прислонившись к стене дома. Над его широким повелительным лицом сиял на фуражке серебряный герб города Нью-Йорка. Заметив неуверенность, с которой мы шли по улице, он направился к нам навстречу, но, не получив вопроса, снова занял свою позицию у стены, величавый и подтянутый представитель порядка.

Из одного дрянного домишка доносилось скучное-прескучное пение. Человек, стоявший у входа в домик, сказал, что это ночлежный дом Армии спасения.

— Кто может ночевать здесь?

— Каждый. Никто не спросит его фамилии, никто не будет интересоваться его занятиями и его прошлым. Ночлежники получают здесь бесплатно постель, кофе и хлеб. Утром тоже кофе и хлеб. Потом они могут уйти. Единственное условие — надо принять участие в вечерней и утренней молитве.

Пение, доносившееся из дома, свидетельствовало о том, что сейчас выполняется это единственное условие. Мы вошли внутрь.

Раньше, лет двадцать пять тому назад, в этом помещении была китайская курильня опиума. Это был грязный и мрачный притон. С тех пор он стал чище, но, потеряв былую экзотичность, не сделался менее мрачным. В верхней части бывшего притона шло моление, внизу помещалась спальня — голые стены, голый каменный пол, парусиновые походные кровати. Пахло плохим кофе и сыростью, которой всегда отдает лазаретно-благотворительная чистота. В общем, это было горьковское «На дне» в американской постановке.

В обшарпанном зале, на скамьях, спускавшихся амфитеатром к небольшой эстраде, остолбенело сидели двести ночлежников. Только что кончилось пение, начался следующий номер программы.

Между американским национальным флагом, стоявшим на эстраде, и развешанными по стенам библейскими текстами прыгал, как паяц, румяный старик в черном костюме. Он говорил и жестикулировал с такой страстью, будто что-то продавал. Между тем он рассказывал поучительную историю своей жизни — о благодетельном переломе, который произошел с ним, когда он обратился сердцем к богу.

Он был бродягой («Таким же ужасным бродягой, как вы, старые черти!»), он вел себя отвратительно, богохульствовал («Вспомните свои привычки, друзья мои!»), воровал, — да, все это было, к сожалению. Теперь с этим покончено. У него есть теперь свой дом, он живет как порядочный человек («бог нас создал по своему образу и подобию, не так ли?»). Недавно он даже купил себе радиоприемник. И все это он получил непосредственно с помощью бога.

Старик ораторствовал с необыкновенной развязностью и, как видно, выступал уже в тысячный раз, если не больше. Он прищелкивал пальцами, иногда хрипло хохотал, пел духовные куплеты и закончил с большим подъемом:

— Так споемте же, братья!

Снова раздалось скучное-прескучное пение.

Ночлежники были страшны. Почти все они были уже не молоды. Небритые, с потухшими глазами, они покачивались на своих грубых скамьях. Они пели покорно и ле-

ниво. Некоторые не смогли превозмочь дневной усталости и спали.

Мы живо представили себе скитания по страшным местам Нью-Йорка, дни, проведенные у мостов и пакгаузов, среди мусора, в вековечном тумане человеческого падения. Сидеть после этого в ночлежке и распевать гимны было пыткой.

Потом перед аудиторией предстал дядя, пышущий полицейским здоровьем. У него был водевильный лиловатый нос и голос шкипера.

Он был развязен до последней степени. Снова начался рассказ о пользе обращения к богу. Шкипер, оказывается, тоже когда-то был порядочным греховодником. Фантазия у него была небольшая, и он кончил заявлением, что вот теперь благодаря божьей помощи он тоже имеет радиоприемник.

Опять пели. Шкипер махал руками, показывая немалый капельмейстерский опыт. Двести человек, размолотых жизнью в порошок, снова слушали эту бессовестную болтовню. Нищим людям не предлагали работы, им предлагали только бога, злого и требовательного, как черт.

Ночлежники не возражали. Бог с чашкой кофе и куском хлеба — это еще приемлемо. Споемте же, братья, во славу кофейного бога!

И глотки, которые уже полвека извергали только ужасную ругань, сонно заревели во славу господ.

Мы снова шагали по каким-то трущобам и опять не знали, где мы. С молниями и громом мчались поезда по железным эстакадам надземной железной дороги. Молодые люди в светлых шляпах толпились у аптек, перебрасывая короткими фразами. Манеры у них были точь-в-точь такие же, как у молодых людей, обитающих в Варшаве на Крахмальной улице. В Варшаве считается, что джентльмен с Крахмальной — это не бог вещь какое сокровище. Хорошо, если просто вор, а то, может быть, и хуже.

Поздно ночью мы вернулись в отель, не разочарованные Нью-Йорком и не восхищенные им, а, скорее всего, встревоженные его громадностью, богатством и нищетой.